

Альберт Лиханов

Паводок



Альберт Лиханов

Паводок

1972

Лиханов А.

Паводок / А. Лиханов — 1972

Сюжетная острота, напряженность коллизий, максимализм нравственных установок свойственны повести, рассказывающей о случае с группой геологов.

Содержание

Слава Гусев	6
Валентин Орлов	9
Николай Симонов	11
Семен Петрущенко	13
Кира Цветкова	16
Сергей Иванович Храбриков	18
Петр Петрович Кирьянов	22
Слава Гусев	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Альберт Лиханов

Паводок

Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.
А. П. Чехов

24 мая. Полдень

Слава Гусев

Вертолет завис над проплешиной между прибрежными кустами.

Сверху снег казался голубым, а тени от деревьев синели фиолетовой акварелью. Говорить и даже кричать теперь было бесполезно, не нужно, ни к чему, и Слава вышел из пилотской, устало сел у иллюминатора.

Два раза, надрывая глотку, он заставил вертолетчиков обойти триангуляционную вышку, пока окончательно не убедился сам, что они правы и что, кроме этой проплешины, ближе к вышке подходящей площадки нет.

Можно было, конечно, выбросить лестницу, спуститься по ней, но «можно» лишь теоретически – спуститься действительно можно, но лишь самим, огромные тюки с едой, палаткой, а главное – с приборами, никак не выгрузишь, не выбросишь, хотя внизу и снег. Этого не позволяла инструкция и прежде всего здравый смысл, а здравый смысл был для Славы главной инструкцией.

Он махнул рукой, вышел из пилотской и теперь разглядывал, как там, за иллюминатором, гнутся от ветра, который гонит лопасти, голые кусты в рыхлом, осевшем снегу, как тень вертолета, похожая на странного жука, отраженного на белом полотне экрана, медленно приближается к нему, как земля становится все ближе, ближе...

Кабину качнуло, вертолет взвыл винтами, пробуя, устойчиво ли встали его ноги, потом разом умолк; на снегу, мельтеша все медленнее, закрутилась видимая теперь тень винта. Слава шагнул к двери, отстегнул пружину, прихватившую ручку, и зажмурился.

Снег, синеватый сверху, слепил глаза ярким, искрящим полотном. Слава рассмеялся и прыгнул вниз. Снег был волглый от весенней сырости, крупитчатый, словно грубая соль, но чистый, потому что ничто не могло грязнить его тут, в глубине тайги, отгороженной от ветров высокостволым сосняком.

Хлопнуло стеклышко в пилотской кабине, веснушчатый летчик, совсем пацан, высунул по шею голову, освобожденную от вечных наушников, плюнул для блезиру длинной хулиганской струйкой и крикнул Славе хозяйским, начальственным басом, зная, что теперь, сойдя с вертолета, Гусев обратно к нему не полезет.

– Ну, вы, кор-роче!

– Я те попонужаю, кузнечик! – рыкнул Слава, не переставая улыбаться и разглядывать веснушчатое лицо пилота: грубоватые и высокомерные с геодезистами, при Гусеве летчики высокомерие свое прятали. Таков уж был Слава Гусев – приземистый и широкий, как камбала, с такими же широкими ладонями, как будто отлитыми из железа, и с лицом – жестким, угловатым, широкоскулым, – как бы высеченным из дерева.

Слава Гусев был известен в поселке своей силой, сдержанной, однако, его темпераментом и характером. Силу хулиганскую, разудалую или пьяную, люди в крайнем случае просто боятся, но уж никогда ни за что не уважают – уважения достойна лишь сила сдержанная, которой стесняются, которую зазря не показывают. Один только раз пришлось применить ее Славе Гусеву принародно – когда прицепились к нему три пьяных заезжих уркагана, которых занесло на Север за длинным рублем. Уркаганы уже поигрывали ножиками, не стесняясь прохожих, – милицию в тутошних краях скоро не сыщешь, – но Слава уgomонил их; непривычный к дракам, он неловко махнул несколько раз своей широкой ладонью, метя по шеям, порезался, правда, слегка о ножик, но шпана повалилась наземь. Слава связал им руки шарфами и пошел в контору вызывать участкового. Сделал он все это не спеша, словно выполнил работу малоприятную, но нужную, стыдясь при этом случайных зрителей, оказавшихся вблизи.

Как это бывает с физически сильными людьми, Слава преимущества своего никогда не использовал, не похвалялся им, не гнул прилюдно подков. В поселке, в городе им то и дело

овладевала странная застенчивость, и вольно он чувствовал себя только здесь, в тайге, среди немногих своих товарищей, и только тут, да и то изредка, под настроение, его захватывало неожиданное для него самого озорство.

Оказавшись в снегу, Слава гоготнул, принял первый куль, самый тяжелый, с приборами, потом выбрался из сугроба, просемафорил остальным. Из кабинки, разбежавшись, выскочил в снег Орелик – Валька Орлов, по пояс воткнулся в сугроб, с трудом выбрался, дурачась, они приняли груз, скидывая его как попало – потом все разложат, раскинут палатку как полага-ется, – тут уж у Гусева, будет полный порядок. Перекрикиваясь с летчиком, поругивая его, обзывая таксистом и извозчиком, который, желая получить на чай, издевается над пассажирами, Слава принял груз, подсчитывая про себя количество тюков, потом по лесенке солидно спустился дядя Коля Симонов, за ним спрыгнул Семка Петрущенко.

Настала очередь летчиков. Захлопнув форточку, они включили двигатели. Винты, стремительно раскручиваясь, оглушили ветром, свистом и грохотом. Словно мстя за шутейную руготню не в их пользу, вертолетики взлетать не торопились и поднялись, когда уже не стало никакого терпезу и перепонки в ушах, казалось, вот-вот лопнут.

Вертолет поднялся, покрутил хвостом, как вертялая стрекоза, и исчез за сосняком, а Слава все еще не мог услышать, что говорят другие, – уши словно заложило ватой.

Да он и не старался, уселся на куль с палаткой, достал пачку сигарет, закурил и, выдыхая дым, жадно оглянулся вокруг себя, как оглядывался всякий раз, попадая на новую точку. Вот уж сколько лет ходит Слава геодезистом – сперва простым рабочим, а теперь начальником группы, и всякий раз озирается с любопытством, и в эти первые минуты ему хочется гоготать, кидаться снежками, бороться с приятелями. Но он только сдержанно улыбался, осматривая новое место уже хозяйственно, как бы переключая свое внимание с пейзажа, радующего сердце, на рельеф местности, высоту различных точек и топографические ориентиры.

Чуть выше, на холме, высилась триангуляционная вышка – лучше всего было бы подняться к ней, это было ясно с самого начала, еще там, в вертолете, но теперь перебираться бессмысленно – работы всего на два дня, а эта проплешина возле реки самая удобная площадка для вертолета.

Возвращаясь к своим заботам, Слава огляделся еще раз. И чтобы не таскаться туда да назад, чтобы сэкономить силы свои и троих помощников, которым и так за эти два дня, нужные для съемок, придется вдоволь набродиться по крупитчатому, а значит, рыхлому снегу, Слава решил, что лагерь они разобьют прямо здесь, в двадцати метрах от трех лунок, оставленных колесами вертолета, на небольшом пригорке, где можно хорошо разместить палатку и выгодно поставить антенну.

– Итак, будем знакомы, Петр Петрович. Я – следователь прокуратуры. Моя фамилия Семенов. Хотел бы предупредить вас, что в конце нашего разговора вам придется поставить под протоколом подпись. Так что лучше всего говорить четко, по порядку, подробно отвечая на поставленные вопросы.

– Что же это – допрос?!

– Лучше назовем процедуру дознанием. Так давайте начнем с предыстории. Ваш год рождения?

– Тридцать пятый.

– Сколько лет вы в этой должности?

– Пять.

– А на изыскательской работе?

– Двенадцать.

– Значит, у вас большой опыт?

- Раньше считалось так.
- Что вы окончили?
- Институт инженеров геодезии, картографии и аэрофотосъемки.
- Тот же самый, что и Орлов?
- Тот же самый.
- Вы, конечно, не знали его по институту?
- Как я мог знать его, если он закончил институт в прошлом году? А я двенадцать лет назад.
- Ну, мало ли...

24 мая. 13 часов 20 минут

Валентин Орлов

«Продолжаю письмо. Наш старшой согнал с нас семь потов, но за час мы поставили палатку, наладили рацию, сложили вещи. Сейчас объявлен перекур, наш радист Семка Петрущенко на примусе варит концентрат. Минут через двадцать поедем, и тут же настанет моя стихия, потому что, конечно, даже самому Гусеву не угнаться за мной в точности измерений, в расчетах привязки хода. Вот такие пирожки, Аленка.

Опишу тебе новую точку. Мы сидим на небольшом пятачке среди снежной равнины, впрочем, пятачок этот тоже снежный, просто он едва возвышается над приречной луговиной. Это было самое удобное место для посадки вертолета, и Гусев про себя, верно, решил, что мы тут и останемся, хотя подальше есть высотка с триангуляционной вышкой. Но тащиться туда сквозь кусты да еще по рыхлому снегу – безумие, неоправданная трата сил, которые нам и так пригодятся, и я, стараясь принять собственное решение еще до того, как объявит свое Гусев, был рад, что Славино и мое решения совпали. В прошлом письме и еще раньше я писал тебе про начальника нашей группы. Он довольно опытный человек, хотя закончил только техникум: еще одно доказательство, что знания без опыта теряют свою цену. Я знаю гораздо больше Гусева в чисто профессиональном отношении, но он знает и умеет куда больше меня в отношении житейском, практическом. А без этого в поле нельзя. Поэтому я и стараюсь, ничего не говоря Гусеву, принимать собственные решения, – не из самолюбия, нет. А для того, чтобы, учась у него самостоятельности, которая меня, конечно, ждет в недалеком будущем, не быть слепым подражателем его поведения, его опыта. Часто наши решения не совпадают, и я стараюсь анализировать причину. Пытаюсь быть объективным. В большинстве случаев Гусев предусматривает в своих решениях то, чего я не знаю, и тут, как говорится, крыть нечем. Но иногда мне кажется, что мое решение было бы более верным, я говорю об этом Гусеву. Он смотрит на меня внимательно и, мне кажется, не понимает, чего я хочу. А однажды после такого вопроса он меня спросил:

«Ты чо, Орелик, – это он меня так ласкательно называет, – ты чо, говорит, на мое место сесть хочешь? Дак не выйдет. Я за начальствование свое надбавку приличную получаю, а у меня семья, дети». Я аж поперхнулся, стал объяснять ему, что даже не думал об этом, просто готовлю себя к самостоятельной работе, но мои слова, кажется, не произвели на него никакого впечатления. А семья у него действительно большая: родители жены, жена и трое детей, подумай только! Жена у него, правда, работает, но остальных он кормит, поэтому мы и костоломим, как проклятые, – Гусев зарабатывает на семью. Я бы поберег силы группы, вон и радист наш Семка – длинный, нескладный, прямо мальчишка-переросток – иногда поскуливает, что мы гоним как сумасшедшие, но лишь только поскуливает, не больше, и то когда Гусева поблизости нет: деньги ведь всем нравятся, мне тоже они нравятся, – знаешь, как приятно, вернувшись с поля, получить у кассира тугую пачку жизненно необходимых средств!

Впрочем, тебе этого пока не понять, да, может, и вовсе ни к чему: это я, мужчина, должен хлопотать о деньгах, для женщины это второе дело, хотя, впрочем, без денег шубу не сошьешь, как говорится. Ну ничего, ты скоро приедешь ко мне, как-нибудь уговорю ПэПэ отдать тебя в мою группу, и мы начнем вдвоем обхаживать эти урманы, эти просеки и луговины. Конечно, нас будет жрать комарье и гнус и будут жечь морозы, но зато, Ленка, мы будем вместе. И когда-нибудь приедем в институт, огрубелые, обветренные, я с черной окладистой бородой – кстати, уже начал ее отпускать, чтобы ты не узнала меня при встрече, – и наши замшелые пни – преподаватели и всякие там прочие аспирантики – увидят настоящих людей... Зовет кашевар. Обед готов. Потом мы сразу уйдем на съемку. Вечером допишу».

– Мне хотелось бы узнать ваше мнение о людях Гусева. Я думаю, это поможет восстановить картину их психологического состояния в то время.

– Гусев – человек опытный, лесовик, но не очень далекий. Образование – техникум. Привык выполнять работу «от» и «до». Радист у них новенький, совсем мальчишка, маменькин сынок. Я думаю, во многом виноват он. Если бы по его неопытности не упала антенна...

– Дальше.

– Про Орлова я вам говорил, знаю его плохо. Он только начинал. Все, что знаю о нем, – учились в одном институте. Новичок, и этим все сказано.

– Там был еще один.

– Да, рабочий. Забыл его фамилию.

– Симонов.

– Точно, Симонов. Однофамилец поэта. Как это я...

– Он, кажется, был в заключении?

– Вот-вот. Темный тип, хотя мы вынуждены брать и таких, не хватает людей. Думаю, в общем, контингент группы не блистал. Поэтому так и случилось.

– Словом, вы считаете, что психологическая обстановка в группе не была идеальной.

– Мягко говоря...

– И это – одна из причин?

– Весьма существенных.

24 мая. 14 часов

Николай Симонов

Он шел первым, торя тропу к триангуляционной вышке. Идти было трудно, рыхлый снег проваливался до самой земли под тяжестью тела и тяжестью груза: за плечами висел штатив для прибора, а сам прибор, болтаясь на груди в неудобном футляре, оттягивал шею.

Идти было тяжело, но еще тяжелей было на душе, словно камень давил – как в тот день.

Но в тот день были причины, опять они полаялись с Кланькой, оттого он и пива выпил, и бутылку взял, хотя ее и не открывал, – да какой прок, что не открывал, к делу ее, однако, пришили. В общем, тогда камень давил справедливо, теперь же все это ерунда, одни впечатления, их надо топить – эти впечатления, чтоб не перли, иначе – худо дело, это уж он испытывал сто раз на проклятой отсидке. Но тогда была отсидка, какое-никакое, а заключение. Здесь же – другое дело, воля, хорошая работа, денежная, и ребята, слава богу, толковые, хорошие ребяташки, век бы с ними вековать, таскаться вот так по тайге и не вспоминать никогда эту Кланьку, быльем все оно зарости, кабы не Шурик белобрысый, кабы не Санька его, Александр Николаевич Симонов, ученик третьего класса, девяти с половиной лет от роду...

Снег шуршал, проваливаясь. Выбирая сапоги, Симонов видел, как капала с них вода, слышал, как чавкала она под снежным прикрытием, промывая там, на глубине, извилистые дорожки. Это особенно чувствовалось в низинках: там воды было больше, снег уже не казался белым – он был тяжелым и серым на цвет.

Симонов, наклонясь, подхватил пригоршню и сжал ее: из снега, как из губки, закапала вода, и он крикнул, не оборачиваясь, Гусеву, который шел следом:

– Слышь, командир, весна-то нас настигает!

– Слышу! – ответил Гусев, но Симонов тотчас забыл и о своем вопросе, и об ответе начальника. Скоро предстоял перерыв, работы оставалось на пару дней, не больше, а вертолету лететь до них ровно пятнадцать минут от поселка, так что, считай, они уже дома. Два дня – и банька тебе, и побриться можно в поселковой парикмахерской, где тепло, приятно пахнет одеколоном и ты можешь даже вздремнуть от удовольствия, под тихое бормотанье парикмахерши и легкую музыку из репродуктора.

Было в предстоящем отдыхе много хорошего, но теперь, подумав об этом, Симонов понял, что тяжесть на душе, камень этот проклятый – тоже от недалекого будущего, от недолгого безделья, которое намечалось. За две, две с половиной недели Славка Гусев непременно успеет смотаться к своей обширной родне, Орелик улетит в институт, навестит подружку, Петрущенко тоже не останется, проведает мать, и только он один не стронется никуда из таежного поселка. Он будет ходить по два раза в кино – на детские сеансы и потом, вечером, брать в чайной по стакану горяченькой, но не больше, – на большее у него зарок; будет топтать сапогами весеннюю грязь, маясь своими мыслями, горя о Шурике, проклиная Кланьку и не решаясь поехать в свой неприметный городок, где все это случилось, все произошло в тот, пропади он пропадом, не ровен час.

Даже самое простое не позволит себе Николай Симонов. Получив на почте пачку Кланькиных писем, не раскроет, даже выпивши, ни одного, сунет в мешок, и все, разве что злей станет топтать грязь, измеряя поселок в одном возможном направлении – вдоль единственной улицы, уставленной крепкими бревенчатыми пятистенками.

Он будет ходить эти две недели туда и сюда, и буфетчица Нюрка, навесив амбарный замок на дверь чайной после закрытия, станет следить за ним тоскливым вдовьим взглядом, открывая перспективы и предоставляя возможности, а он, бедолага, станет прятать глаза, с тоской кляня себя за однажды допущенную слабость, горя и не зная выхода, а потом улетит снова в глушь, в безлюдье, чтобы опять терзать себя невыносимостью одиночества, непоправимого обмана и смертельной обиды, полученной от Кланьки.

Эх, Кланька, Кланька, паскудная твоя натура!

Симонов остановился, задохнувшись от воспоминаний, оглянулся вокруг, чтобы забыться, снял для охлаждения шапку.

От кудрявой его головы валил пар, давно не стриженная, неухоженная борода топорщилась лопатой, и Слава Гусев, взглянув на него, кротко улыбнулся, прикидывая, на кого же похож дядя Коля Симонов: то ли на цыгана, то ли на разбойника? Или на схимника какого, затворника из старообрядцев?

– Ну что встал, дядя Коля? – крикнул Валька Орлов, который шел третьим.

Симонов обернулся назад, напялил треух на голову и пошел дальше, думая о своем.

Называя его дядей, Валька не улыбался, выходило это у него всерьез, да, подумав-то, так ведь и получалось: Вальке – двадцать три, ему – сорок три, да плюс борода, да еще отсидка, – все полсотни тянет он на вид с этими прибавлениями – одним вольным: хошь – носи, хошь – брейся, другим – невольным: судьба уж, видно, так распорядилась.

– Каким образом группа Гусева оказалась на изысканиях до начала полевых работ? Ведь полевые работы в этих районах согласно инструкции могут быть начаты лишь после окончания паводка?

– Вы рассуждаете как формалист. Впрочем, я понимаю, вы защищаете букву закона. Нам же, практикам, во имя сути дела приходится иногда поступаться буквой. Мы выполняем план. В конце концов, выполняем государственное задание. Это во-первых. Во-вторых, приказа, подчеркиваю, приказа о начале полевых работ не было. Так решено на общем собрании. Решено голосованием. Единогласно. Потому что люди не хотят сидеть без дела, а хотят заработать.

– Выходит, собрание голосует за нарушение инструкции и администрация тут ни при чем?

– Не будьте формалистом, призываю вас. Разберитесь в сути.

– Хорошо, разберемся в сути. А суть такова: любые полевые работы в поймах рек на время паводка прекращаются. Кем и как определяется начало паводка?

– Гидрометслужба дает сводку, вообще-то. Ну и на глаз. Группы, работающие в поймах, радируют о подъеме воды или обильном таянии.

24 мая. 17 часов

Семен Петрущенко

Семке было двадцать лет, и он все еще рос, рос до неприличия быстро, не успевая наращивать мышцы, а оттого походил на жердочку или на Паганеля. Самый молодой и самый длинный в их группе, он чуть не вполтину перерос Славу Гусева, своего начальника, и очень смущался этим обстоятельством, потому что если он был вдвое длиннее Славы, то вдвое и слабее. Досадуя на свои физические недостатки, Семка про себя ругал себя «антенной», уже тысячу раз удивившись, как это никто в группе до сих пор не догадался прозвать его этой, лежащей на поверхности и такой точной кличкой. Но, удивляясь недогадливости товарищей, стыдась своей длинноты и немощи, Семка все-таки имел и достоинства. К примеру, он очень гордился тем, что, окончив школу радистов, много зарабатывал и не боялся одиночества.

Деньги ему требовались, чтобы посылать матери – он посылал как можно больше, зная, как мать понесет корешок от извещения к соседям, гордясь за своего Семку, и как накупит к вечеру сладостей по случаю перевода, и поставит самовар, а потом станет долго глядеть на фотографию, где Семка и умерший отец сняты вместе.

Семка часто думал в тайге о матери, хотя никогда никому не говорил об этом. Здесь после шумного города было много времени для самого себя, и Семка размышлял о своих приятелях, оставшихся дома, вспоминал фильмы, которые смотрел, и книги, которые прочел.

Часто ему становилось очень грустно, непонятно даже почему, и он вспоминал маму – морщинистое ее лицо: ей было шестьдесят, она часто жаловалась, что поздно родила Семку. Надо было раньше, но первые ее дети умирали, и она всякий раз суеверно боялась рожать. Семка был поздним ребенком и остался жить, мама очень боялась его потерять и опекала каждый его шаг, и он горячо с детства чувствовал безмерную материнскую любовь. Любовь эта не была, однако, исступленной или горькой, какой может быть любовь матери, изувечившейся в своем материнстве, напротив, мама любила Семку как-то устало, обессиленно, но очень светло. Входя в материнский дом, Семка чувствовал, что он как бы вступает в солнечную комнату, солнечную всегда, и что этот свет не угаснет до тех пор, пока жива мать.

Семке было всего двадцать лет, его не взяли в армию из-за зрения: он носил очки. Тогда он окончил школу радистов, закалялся, обливаясь холодной водой, изгоняя из себя недостатки, как он выражался, характера, и устроился в геодезическую партию. Мама не была против: она освещала каждое Семкино решение, даже если в душе не соглашалась с ним, и он оказался тут, вдали от жилья и от мамы. Первое было ему безразлично, а о матери он забыть не мог и, оставшись один, словно заблудившийся телок, вспоминал маму, представляя ее морщинистое лицо, ее руки, ее голос.

Писать из тайги было невозможно, и Семка, пользуясь своей должностью, а также договоренностью с радистом отряда, которому, возвращаясь, выставлял мзду в стеклянной таре, отправлял маме дважды в неделю радиogramмы. Радист отряда пересылал их с попутным транспортом на телеграф, и мама, как казалось Семке, была спокойна. Деньги же он отправлял сам, вернувшись на короткий отдых в поселок – деньги эти, крупные суммы, имели особый смысл: Семка помнил, как после давней смерти отца тяжело доставались они его не очень-то грамотной, без образования, маме.

Всякий раз, когда он приезжал домой, мама доставала из шкафа обнoвы, купленные Семке на его деньги, показывала возросшую цифру в сберкнижке, и Семка очень расстраивался, горячился, ругал мать за ненужную и глупую экономию. Мама получала теперь маленькую пенсию, деньги ей были, безусловно, необходимы, и Семка радовался большим заработкам. И очень гордился ими.

Ну, а смелость требовалась Семке исключительно по служебным соображениям. И для дальнейшего усовершенствования характера.

По долгу службы Семка часто оставался один, пока остальные уходили на съемку. Можно даже сказать, что он почти всегда оставался один и должен был к приходу группы сварганить обед, постаравшись схлопотать свежатинки, а также наладить связь и получить радиоуказание от вышестоящего начальства. По расписанию Семке полагалась Славина двустволка, и у Семки появилась возможность охотиться, а также самоутверждаться.

Охотиться Семка очень любил, стараясь, правда, не отходить далеко от лагеря. Однажды, когда Семка ушел подальше, он вернулся к настоящему разгрому: антенна была сломана, палатка повалена, мешок с припасами разодран, а банки со сгущенкой основательно измяты. Как установили эксперты во главе с дядей Колей Симоновым, в Семкино отсутствие в лагере пошуровал шатун. Дядя Коля Симонов при этом причитал, благодарил судьбу за то, что Семка ушел подальше и не встретился с медведем, но от Славы радист получил нагоняй и указание: охотиться в пределах видимости и слышимости лагеря.

Теперь Семка бродил по замкнутому кругу, имея в одном стволе дробь – для дичи, в другом «жакан» – для медведя. Шатуны, однако, больше не попадались, зато дичь Семка и вправду выучился бить довольно метко, хотя и не очень стремился к этому: зайца ли, глухаря или тетерку надо было обдирать, потрошить, палить, а делать это Семка ленился. Еда из концентратов получалась при меньших затратах труда и казалась Семке не менее вкусным и уж по крайней мере весьма оптимальным вариантом. И только Славины или дяди Коли Симонова укоры пробуждали в нем охотничью инициативу. Любовь к охоте соединялась в Семке с некоторой долей лени.

В тот раз, после ухода группы, Семка с одного выстрела убил тетерку и, перекинув ее через плечо, пошел к лагерю.

Солнце палило прямыми, близкими лучами – вполне можно было загорать, – Семка насвистывал во всю мощь какую-то мелодию, сердце его колотилось от успеха и предстоящих похвал. Как всегда, когда ему удавалось добыть дичь, он представлял себя не здесь, в этом таежном одиночестве, а дома, во дворе, где, появившись он с такой добычей, разом бы распахнулись все окна, к нему набежала бы ребятня, в один миг он стал бы замечательным человеком и героем даже среди взрослых. А тут он приносил зайцев, тетерок, куропаток, глухарей – огромных, от плеча до земли, и это считалось вполне естественным, обыкновенным. Лишь Орелик, Валька Орлов, иногда удивлялся, но Валька – интеллигентный человек, только что окончил институт, он еще сам новичок, а на Славу Гусева или на дядю Колю Симонова эти охотничьи добычи никакого впечатления не производят.

Семка шел по снежной целине, раздумывая о том, что через два дня, вернувшись в поселок, он из денег, отложенных маме, возьмет, пожалуй, некоторую сумму для давно и крайне необходимой вещи. Он купит фотоаппарат, запасется пленкой, и когда через две недели группа снова прилетит в тайгу, он снимется с добычей после первой же удачной охоты, а потом пошлет карточки домой.

Семка снова засвистел, перехватил тетерку в другую руку и испуганно охнул.

Снег под ним податливо провалился, теряя опору, Семка замолотил ногами и очутился по пояс в ледяной воде. Он тотчас выскочил из нее, вылетел пробкой и с удивлением обернулся. Куски снега, шурша, отваливались в бочажину, наполненную прозрачной талой водой. Семка выругался и рысью побежал к лагерю. Вода хлопала в сапогах, из ружейных стволов пролились две тонкие струйки; мокрой была и тетерка.

Оранжевое, почти прозрачное на солнце пламя костра затрепетало в сухом сушняке, и Семка, подпрыгивая, скинул сапоги, переоделся и начал ошипывать тетерку, развесив на горячем солнце мокрую одежду.

В конце концов, ничего страшного: ну, подумаешь, провалился в ледяную воду. Семка стал думать, как расскажет он об этом случае матери и как будет она волноваться, размахивать руками и наказывать, чтобы он был там, в тайге, среди медведей и прочих таких опасностей,

поаккуратнее. В горле защекотало, Семка подумал взросло, что жизнь жестока, разъединяя близких и одиноких людей. Он вспомнил руки матери, ее голос и оборвал себя, преодолевая недостатки характера: что же это, в конце концов, опять расхлюпался, как девчонка.

В котле, побулькивая, закипала вода, и Семка решил, что сегодня все будут довольны им, его удачливостью, его меткостью. Нет, в конце концов, он тут нужный человек. А вот пройдет годик-другой, поднатореет он поосновательней в радиоделе, и за него еще станут драться начальники групп, партий, а то и целых отрядов. Кто не знает, что настоящему радисту цены нет и что такие радисты сами выбирают, где и с кем им работать.

– Сводка Гидрометслужбы, Петр Петрович, как подтверждают свидетели, лежала на вашем столе. Отрицаете ли вы этот факт?

– Нет, действительно допустил халатность. Забыл сводку, вместо того чтобы передать ее начальнику партии Цветковой. В пойме Енисея работала только одна группа, Гусева, подчиненная ей.

– Так что вы признаете?

– Признаю, хотя и не считаю это решающим фактом. В сложившейся ситуации люди Гусева, и прежде всего он сам, должны были искать выход.

– Они могли радировать и радировали, когда паводок уже начался.

– Если бы с самого начала Гусев правильно выбрал расположение лагеря, ничего бы не случилось. Контролировать такие действия Гусева мы не можем и не должны.

– Значит...

– Значит, виноват Гусев.

– Один вопрос. А как бы поступили вы?

– Выбрал бы безопасную точку.

– Это можно говорить задним, так сказать, числом. А если бы вы знали, что рядом, в пятнадцати минутах лета, находится отряд, вертолеты, друзья?

– На друга надейся, а сам не плошай – так говорит народная мудрость.

24 мая. 17 часов 30 минут

Кира Цветкова

В двадцать восемь лет Кира никак не могла привыкнуть к тому, что ее зовут по имени-отчеству: Кира Васильевна. Вечерами, перед тем как лечь спать, разматывая жиденькую мышиную косичку, она глядела на себя в зеркало и в эти минуты, оставаясь наедине с собой, всякий раз удивлялась своей жизни, удивлялась ее течению, которое против воли самой Киры вынесло вот сюда, на край земли, и поставило командовать мужчинами.

В школе тощенькая, маленькая, невзрачная Кира училась весьма средне, дважды оставалась на второй год – в шестом и в восьмом, на троечках, которые ставились с натяжкой, доплелась до десятого, мечтая о том, чтобы найти техникум или институт себе по силам и по способностям. Скажем, педагогический, чтобы стать потом учителем в первых классах – с первышками хоть и хлопотно, но легко в смысле наук: сложению там, вычитанию или правописанию выучиться, в конце концов, можно.

Учась в школе, Кира только и думала о том, чтобы скорее покончить с учением, привыкнуть к будущей работе, успокоиться наконец. Ученье вызывало у нее головные боли, внутреннюю опустошенность и безволие – она легко уставала, никогда не отличалась самостоятельностью, во всем подчиняясь жизнерадостным и энергичным подружкам.

Подружки же увлекли ее от пединститута совсем в другую сторону. Две самые озорные, сильные из них поступили на геологический факультет; поддавшись уговорам, на экзамены с ними пошла и Кира и по шпаргалкам, которые перекидывали ей подружки, успешно сдала вступительные. На факультете учились почти одни ребята, девушки поступать туда не решались, считая будущую специальность мужской работой, и Кира неожиданно извлекла из этого пользу.

Ребята, полагая своим долгом опеку над немногими девушками, всячески выручали их – и на контрольных, и на экзаменах, помогали чертить, решать задачи, и Кира выплыла, успешно получила диплом и институтский ромбик, не изменяясь, впрочем, за эти годы ничуть и ни в чем. Подружки ее еще на третьем курсе повыскакивали замуж, но Кирина кротость и невзрачность так и не привлекли никого, ребята предпочитали оставаться с ней хорошими товарищами, но не больше, и Кира, завидуя подружкам, вынужденным по праву материнства остаться в городах, уехала в тайгу.

Геологом она, однако, так и не стала; оглядев ее хрупкую фигуру, начальство сразу определило ее в геофизический отряд и сразу на командную должность – рядовым инженером-геодезистом никто поставить ее не рискнул.

Три года Кира жила в лесном поселке, подписывала бумаги, следила за передвижением своих групп, выполнением плана, иногда вылетала вертолетом на точки, где работали люди, но тут же, даже не ночуя, возвращалась, и все шло вроде бы своим чередом, тем более что ПэПэ, Петр Петрович Кирьянов, начальник отряда, хозяйничать ей не позволял и все решал сам.

Такое положение Киру устраивало, в конце концов, ПэПэ знает дело куда лучше ее, и она никогда не отклонялась от четко заданной программы: все, что ей нужно и не нужно решать, – согласовывать с Кирьяновым.

Кирьянов производил на Киру гипнотизирующее действие. Огромный, мускулистый, почти квадратный, со звонким, раскатистым голосом, он, казалось, был создан для того, чтобы жить в тайге и командовать людьми, работающими в тайге.

Иногда, разговаривая с Кирьяновым, Кира думала, что, случись война, его немедленно надо было сделать генералом – этот человек был военным по натуре; для него не существовало отдельных людей, он командовал группами, партиями, всем отрядом, как воинскими подразделениями: четко, кратко, не споря и не обсуждая своих решений. Ему или подчинялись беспрекословно, как на войне, или очень скоро вылетали из отряда. Вдогонку свободолюбцам

Кириянов слал резкие, как реляции, характеристики с такими выражениями, что уехавших не очень-то брали в другие отряды, потому что Кириянов числился образцовым начальником. Отряд всегда выполнял план, рабочие, техники, инженеры – все получали приличные премии, и Кириянов был неуязвим.

Словом, ПэПэ Киру вполне устраивал, с таким начальством ей, существу бесхарактерному и нерешительному, жилось совсем не худо, к тому же Кириянов проявлял к ней видимое уважение, называя ее Кирой Васильевной, и Кира это ценила. Она была человеком неуверенным в себе и всякое поощрение к уверенности воспринимала чутко и благодарно.

В половине шестого двадцать четвертого мая она зашла в контору начальника отряда и, получив любезное приглашение Кириянова сесть, доложила ему о расположении групп на истекающие сутки.

Большинство групп успешно заканчивали месячный план, люди Гусева переброшены сегодня на новую точку в пойме Енисея. Дня через два-три они будут доставлены в поселок.

Кириянов смотрел на Киру Васильевну улыбаясь и, казалось, не слушал ее слов.

– Ну, что вы все про работу и про работу? – спросил он, поднимаясь и прохаживаясь по комнате. – Давайте лучше про жизнь! Вот, например, у меня завтра день рождения. Приходите! Выпьем, потанцуем!

Кира, которую легко было сбить с толку, покраснела, сконфузилась, а Кириянов подошел к ней и протянул свою огромную ручищу. Соглашаясь с предложением, Кира кивнула, краснея еще больше, положила ладонь в руку ПэПэ, и тот осторожно прикрыл ее своими здоровенными, увитыми черной порослью пальцами.

– Каков порядок ваших отношений с вертолетчиками? Кому они подчиняются?

– Естественно, Аэрофлоту. У звена вертолетов, которые нас обслуживают, свое командование, они автономны.

– Ну а на практике?

– А на практике система примерно такая же, как при отношениях какой-нибудь организации с гаражом. Машины арендуем мы, деньги наши, ну и звено выполняет любые наши требования. Какой смысл им портить отношения с нами? Все ведь люди, сами понимаете, в этом никакого секрета нет.

– Какова же все-таки цепочка ваших формальных отношений?

– Зарплату, для простоты и из-за дальности ближайшей аэрофлотовской точки, пилоты получают у нас. Метеообстановку – то есть могут они лететь или нет – пилоты получают из метеоцентра, а часто определяют сами. От отряда к машинам прикреплен наш человек, вроде экспедитора. Он и передает пилотам наши требования, почти всегда сопровождает машину, планирует рейсы.

– Кто это?

– Храбриков. Сергей Иванович.

24 мая. 19 часов

Сергей Иванович Храбриков

Сергею Ивановичу Храбрикову исполнилось пятьдесят два года, он был самым пожилым человеком во всем отряде, выполняя при этом, правда, самую малопочтенную работу – числился вроде бы экспедитором, фактически являясь ответственным за вертолеты. Мальчишком на побегушках служить было не очень-то приятно, особенно когда все вокруг на два-три десятка моложе тебя, но Сергей Иванович Храбриков старался не придавать этому никакого значения. Из дальних российских мест он, мужик себе на уме, прибыл сюда не за почетом или славой, а затем, чтобы в краях, где год приравнивается к двум, поскорее достичь пенсионного стажа, заработав при этом пенсию предельного размера.

И прежде, в городе, где он жил и оставил теперь жену со взрослыми сыновьями ради своего предприятия, Сергей Иванович должностей не занимал, был все более при должностях, поняв давно, что если на должности назначают, то ведь с них и снимают. А если ты не ленив и глупо не тщеславен, то твоя личность и твои услуги всегда могут пригодиться, независимо от погоды и направления ветра.

Более всего Храбриков обожал должности завхозов, но здесь, в геодезическом отряде, это место оказалось, во-первых, занятым, а во-вторых, материально уж очень ответственным – на завхозе лежала забота за десятки дорогостоящих палаток, раций, геодезических приборов, словом, за тысячи рублей, и, махнув рукой, Сергей Иванович пристроился к вертолетам – на работу более хлопотную, но имеющую свои явные преимущества.

Вертолеты арендовались у Аэрофлота исключительно для переброски групп с точки на точку; это был единственный способ передвижения в тайге даже летом, и скоро, очень скоро Храбриков сумел поставить себя так, что оказался как бы единственным и полномочным хозяином вертолетов: пилоты подчинялись только ему; разные там сопляки-мальчишки – начальники групп, партий и прочие, не говоря о рядовых инженерах и техниках, зависели от Храбрикова Сергея Ивановича, человека с большими полномочиями и правами.

Надо, правда, сказать, что никто таких полномочий ему не давал, просто экспедитор подчинялся лично начальнику отряда, и уже исключительной заслугой Храбрикова было то обстоятельство, что он сосредоточил в себе часть власти и могущества Кириянова.

Сближение самого большого человека в поселке с самым, казалось бы, маленьким происходило очень незаметно и как бы невзначай.

Когда к Храбрикову приходила очередная группа, кто-нибудь из специалистов отряда или какой-нибудь начальник партии и требовали вертолет для того-то и того-то, Сергей Иванович не торопился бежать к машинам и исполнять команду, а звонил всякий раз Кириянову и удостоверялся, действительно ли такому-то или таким-то необходимо предоставить вертолет. Кириянова поначалу эти звонки раздражали, но потом он понял, что звонит Храбриков не напрасно, а почти всякий раз стремясь то ли соединить два рейса в одно направление, то ли задерживая один полет для того, чтобы одновременно закинуть продукты или вывезти больного, – словом, всячески экономит. Кириянов обрадовался появлению такого работника – предыдущий экспедитор был добряга-парень и гонял машины почем зря, нисколько не заботясь об экономии, а вертолеты стоили жуткие деньги.

Храбриков знал тысячи способов с пользой подъехать к начальству, пусть поначалу без видимой пользы для себя лично, это ничего, не страшно, хорошее отношение скажется в нужную минуту, и к Кириянову он применил способ не самый уж и мудреный.

Ежемесячно экономя порядочные деньги на вертолетах, он как-то пожаловался Кириянову, когда они были вдвоем, что тяжело ему, пожилому человеку, в Сибири, почти без выходных, без старых, годами выработанных привычек.

– Каких привычек? – спросил Кириянов, скорее механически, чем из интереса.

– Да вот, в России-то рыбалил каждое воскресенье с сынами, – робко сказал Храбриков, хмурясь на весеннее солнце. – А тут рыбищи этой – гребни, не хочу, а ведь и некогда.

– Вот те и некогда. Бери снасть какую хочешь, – сказал Кирьянов, – я разрешаю, да и рыбачь с богом.

– Эх, Петр Петрович, – прокряхтел Храбриков, – какая там снасть, не поняли вы меня, глушануть бы ее хорошенько, да и обеспечить всех, кого надобно. А рыбака-то здесь – что там говорить, и стерлядка, и таймень, и краснорыбца.

Кирьянов был охотником, рыбалку не признавал, как это часто бывает среди охотников, но и не о рыбалке шла речь – он понял сразу, а ответил дипломатично:

– Чего ж тебе надо?

– Толу малость да вертолет.

Кирьянов внимательно оглядел экспедитора. Храбриков был худощав, но жилист, маленькие серые глазки его, утопшие среди припухших век, выражали спокойствие и рассудительность и смотрели прямо на Кирьянова, не мигая.

«Что ж, – ухмыльнулся про себя Кирьянов, – на этого, кажется, положиться можно, хитер мужик, такой не подведет, потому что играет на себя, на свою пользу, заодно и мне удружить желает, чего ж я должен упрямитесь?»

И сказал Храбрикову:

– Тол я тебе выпишу, а вертолеты в твоих руках.

Храбриков не кивнул, еле заметно прищурил глаза, ничего не сказал, а через сутки, в сумерки, когда Кирьянов окончил служебные дела и хотел было выйти прогуляться, появился на пороге с большой бельевой корзиной, плотно укутанной холстиной. Деловито прикрыв дверь, Храбриков тряпицу откинул, и Кирьянов увидел рыбу, прекрасную рыбу, уложенную ровными рядами.

– Экий ты мастак! – удивился Кирьянов, радуясь в душе, что не имеет к этой рыбе никакого отношения, за такое даже его по головке не погладят, теперь ведь в самой глухомани найдутся прокуроры, а сам сказал: – Куда ж ее столько?

– Полагаю, Петр Петрович, – снимая картуз и стирая пот с лысины, ответил Храбриков, – ушицы я вам и без того сготовлю, отдавать же в столовую – рискованно, так как дело незаконное, даже можно сказать, подсудное. Потому предлагаю, чтобы дали вы мне адресок вашей семейки, письмецо и разрешение – устное, конечно, – слетать до станции и отправить корзинку с поездом к вам домой.

– Ну, это ты загнул, – удивился Кирьянов, – до станции без малого триста километров да обратно триста.

– Зато рыбкой своих обеспечите, – улыбнулся Храбриков, – а насчет километров не беспокойтесь, у нас большая экономия.

Кирьянов еще раз пригляделся к этому щуплому мужичонке, лысому, обросшему щетиной, и ему жаль стало его – жаль стало неоцененную преданность этого человека, хорошего в общем-то работника, его хлопоты, его всю эту доброжелательную суету, и он ответил:

– Ну, как знаешь. Хозяйничай сам, раз сэкономил, но меня в это не вмешивай.

– Хорошо, – засуетился Храбриков, – будет сделано и так, Петр Петрович, – но письмо домой и адрес жены у Кирьянова забрал, исчез в полутьме.

Еще через день Кирьянов получил от жены восторженную, полную намеков на какую-то секретность телеграмму, усмехнулся, одобрил Храбрикова, его четкую работу, а главное – одобрил экспедитора за то, что тот как бы выключил его, Кирьянова, из этого дела, все сделал без него. Это было свидетельством действительной преданности, а преданность, считал Кирьянов, надо ценить, и положился на Сергея Ивановича.

Теперь они стали как бы друзьями, не переходя, правда, границу: Сергей Иванович обращался к Кирьянову на «вы», Кирьянов говорил Храбрикову «ты», несмотря на разницу в возрасте – тут были свои правила и свои привычки, в которые оба свято и искренне верили.

Рыбные посылки шли теперь регулярно, и Кирьянов, по-прежнему не имел к ним никакого отношения. Больше того, он теперь узнавал о них только из телеграмм или писем жены. К таким радикальным мерам его вынудил все тот же Храбриков, который едва не вмазал его в нечистоплотную историю, да, слава богу, он вовремя поставил его на место.

Ту историю, как выражался Кирьянов, Сергей Иванович тоже прекрасно помнил, хотя ничего нечистоплотного в ней не видел, даже скорей, наоборот, он проявил по отношению к начальнику предельную честность и искренность.

Нечистоплотностью, видите ли, Кирьянов объявил тот первый случай с рыбой, когда Сергей Иванович переправлял посылку на станцию. Заплатив проводнику четвертную, он наказал доставить одну корзину семье Кирьянова, а остальные три, о которых Кирьянов не знал, но догадываться мог, верному человеку, старому приятелю Храбрикова. Выручку поделили на троих, и экспедитор искренне предложил Кирьянову долю.

Тот покраснел, заорал, стих, правда, быстро, но от денег наотрез отказался, объявив это нечистоплотным занятием.

Ну бог с ним, Сергей Иванович не больно-то огорчился: теперь две трети шли ему.

В девятнадцать часов двадцать четвертого, закончив свои дела, Храбриков пришел в поселковую сберкасса, чтобы положить полученные из города телеграфным переводом две сотни.

Копейка к копейке рубль бережет. Все эти сотни, по мнению Храбрикова, были залогом будущего счастливого пенсионерства.

– Итак, анализируя расстановку сил накануне происшествия, вы считаете, что Гусев был обязан страховать себя выбором другой, надежной точки для лагеря? Ладно. Будем полагать, вы правы, обстоятельства могут сложиться по-всякому. Но в конкретной истории? Исключительных обстоятельств не было. Гусев радировал вовремя, более чем вовремя: и у него, и у нас был громадный запас времени. И все-таки вы не помогли.

– Так сказать нельзя. Помогли, но с опозданием.

– Слушайте, Петр Петрович, а вам не страшно?

– Не пугайте меня, я пуганый!

– Я не пугаю. Я спрашиваю: вам не страшно вот так говорить? Слово речь идет... ну, о невыполнении плана, что ли? Или о еще каком-нибудь недостатке, который можно устранить, исправить.

– Что это вы мне морали читаете? Ваше дело – вести следствие!

– Ну, хорошо, Петр Петрович. Один вопрос не для протокола. За что вас зовут «губернатором»?

– Это имеет значение для следствия?

– Нет. Лично для меня.

– Когда будете прокурором, начальником следственного отдела или как там еще, и вас за глаза как-нибудь прозовут.

– Вы считаете это неотъемлемой частью любого руководителя?

– Каждый, кому дана власть, автоматически получает и недоброжелателей. Если он со всеми будет ладить, значит, никудышний руководитель.

– Мысль не новая, хотя и справедливая. Но всегда ли справедливая? Всеобща ли она?

24 мая. 19 часов 10 минут

Петр Петрович Кирьянов

ПэПэ, как звали за глаза Петра Петровича Кирьянова, гордился своим ростом – 192 сантиметра, и весом – 120 килограммов. Человек далеко не глупый, он, бесспорно, понимал, что физические данные не играют важной роли в том деле, которое он выполняет, и все-таки скидывать данное богом со счетов не собирался.

В душе заурядный актер, в жизни он играл иногда довольно удачно. Используя подходящий момент на совещании или в резком разговоре с человеком, он сначала как бы сникал, вжимал в стол могучие бицепсы, стараясь казаться незаметным, невзрачным, потом резко распрямлялся, вскакивал, повисая над человеком или над людьми громадой своей stodvadtikilogrammovoy туши, приглушал, в противовес внешним действиям, голос, который от этого рокотал внятно, с железным звоном, и действовал тем на окружающих, за редким исключением, безотказно.

Умение использовать физические данные было заложено в Кирьянове, видимо, от рождения. В послевоенной мужской школе, где культ силы считался как бы узаконенным, он был бесменным и непререкаемым авторитетом. Сам он, правда, ужасно не любил драк, питая отвращение к заранее известной слабости противника, но уж так выходило, что вокруг него, как возле баррикады, вечно происходили какие-то сражения, и он наделялся правами третейского судьи, беря под свою опеку то одних, то других. Возле Кирьянова всегда крутилась какая-то компания, лстя ему, предлагая покурить. Одаренный живым умом, он отвергал лесть, справедливо полагая, что сила ему дана от рождения и сам он тут ни при чем. Отказываясь от курева как проявления почитания, Кирьянов был почитаем еще более; беря чью-нибудь сторону, он никогда не допускал ее к себе вплотную, оставаясь независимым.

Классе в седьмом случился, правда, конфликт благодаря этой его независимости. Она возмутила одну из школьных компаний, которую он тогда поддерживал, парни решили проучить эту стоеросовую, как они выразились, дубину и вечером в подворотне устроили Кире «темную» – их было человек десять, – но Петкина сила превзошла их расчеты.

Он раскидал эту компанию. Троим или четверым насадил фингалы прямо там, в подворотне, делая это основательно, – лупя противника затылком о забор, давал «леща» по носу, нокаутировал в подбородок, доводя тем самым врага до полного изнеможения.

С остальными Кирьянов рассчитался наутро, прямо в школе, жестоко и открыто. Он не стал никого караулить в подворотнях, как сделали его бывшие приятели, он вошел в класс, сунул в парту сумку и отправился в коридор.

Начал он с одного девятиклассника. Взяв его за горло на глазах у онемевшего коридора, Кирьянов поставил врага на колени и двумя сильнейшими ударами свалил его на пол. Девятиклассник валялся в брызгах собственной крови, а Киря с невозмутимым, железным лицом мордовал следующего, хотя тот и отпирался, что он был вчера в подворотне, и ревел, умолял его не трогать. Петька верил его словам, но тем не менее поступил так же, как с девятиклассником, – для профилактики и по инерции.

Избиение продолжалось до самого звонка, но Кирьянов не успокоился и тогда – с застывшим, даже равнодушным лицом он вошел в параллельный седьмой, где шел урок безвольного учителя черчения, и прямо при нем загнал в угол последнего из врагов, пока тот не последовал примеру остальных и не свалился на пол.

Школа как бы задохнулась от происшедшего. Учитель черчения убежал к директору, немедленно был созван педсовет, и многие классы бесновались, освобожденные от учителей. Кирьянова позвали в директорский кабинет, он вошел, обмотав правую руку, разбитую о зубы противника, платком. Лицо директора было бледным – такой жестокости и такой наглости даже

в мужской школе никогда не бывало, но тем не менее педсовет продолжался минуты три, не больше.

Кириянов не стал молчать, не стал отрицать ничего из содеянного, он просто рассказал все, как было – и про вчерашнюю подворотню, и про ночную драку, когда десятеро было против одного. Директор подергал губами, но ничего не сказал, отправив его в класс. Педсовет не принял никакого решения – по существу, Кириянов был прав, тем более что никогда ранее в подобных драках не замечался, и если уж этот увальень устроил столь свирепую расправу, значит, все действительно так. Директор, измученный бурсацкой обстановкой, царившей в школе, решил поддержать обиженного Кириянова, дабы приостановить бесчисленные драки этим поучительным примером. К тому же избитые противники Кири после вызова к директору и допросов с пристрастием подтвердили вчерашнюю «темную».

Кириянов после этого стал в школе олимпийским богом. На его независимость никто никогда не посягал, а сам Кирия сделал важный для себя вывод: ни за кого не заступаться, никого не поддерживать, кроме себя.

Как ни странно, оказался прав и директор: драки в школе резко сократились. Откровенная жестокость Кириянова, бывшая объективно актом мести, а значит, благородства, отрезвила некоторые азартные головы. Но сам он вдруг уверовал в свою беспредельную безнаказанность.

С тех пор прошло много лет, и ни разу больше Кириянов не дрался, даже в энергичные студенческие годы. Со временем он заматерел, стал мощней, бицепсы его выпирали стальными буграми; в противовес рано лысеющей голове он отпустил колючую бороду и выучился громогласно, несколько театрально хохотать, так что стоило ему лишь появиться в назревающей обстановке и громко, рычаще захохотать, как предстоящая драка словно бы испарялась, люди враз успокаивались и потихоньку расходились.

В студенческие годы Кириянов любил бродить по городу с красной повязкой на рукаве; улицы, где он дежурил, были всегда образцовыми в смысле общественного порядка, его, как своеобразный символ бригадила, всегда усаживали в президиумы милицейских и прочих общественных заседаний, щедро одаряли грамотами и наручными часами, и как-то незаметно получилось, что Кириянов – замечательный активист, за которым укрепилась слава хорошего, толкового и нужного человека.

Окончив институт, Кириянов сразу стал начальником группы, работал легко, играючи, беззаботно переносил тяготы полевой жизни, потом быстро стал любимцем среди начальников партий, а когда ушел в управление бывший начальник отряда, сомнений ни у кого не было: на его место назначили Кириянова.

Продолжая актерствовать, Кирия, который стал теперь ПэПэ, умел вести себя в управлении, изображал там этакое неотесанного, но добродушного увальня, добродушно отваливал своим шефам окорока копченой медвежатины, кули брусники, мешки кедровой шишки, всякий раз поражая воображение бывших геодезистов, а нынешних горожан какой-нибудь рассибирской новинкой. Например, настойкой из сырого кедрового ореха, напоминавшей «рижский бальзам», драгоценной иконкой из отдаленного монастыря, старой книгой или осетром в человеческий рост, которые Кириянов вез, возвращаясь в управление, самолетом, специально милым друзьям, которые ждут не дождутся, когда чудаковатый Петька Кириянов удивит еще какой-нибудь штуковиной.

Впрочем, было бы несправедливо обвинять его в игре корыстной. Он делал это и бескорыстно. Он играл перед людьми, от которых ничего не хотел и которые даже были обязаны ему. Тот же Храбриков. Тут игра шла как бы за текстом. С этой пигалицей Цветковой Кириянов играл для самоуважения, отыскивал в своей одремучившейся душе элементы галантности, хотя было бы искренней сто раз послать ее к черту, эту бездарную, бестолковую бабу.

Но так ПэПэ поступить не мог. От такого человека, как он, порой ждут и несправедливой справедливости, снисхождения, доброты. Так что пусть эта никчемная, в сущности, доброта упадет лучше на это жалконькое и невредное существо, которое будет благодарно и счастливо.

После ухода Киры Цветковой Кириянов набил «Золотым руном» трубку, закурил, подвинул маленькое настольное зеркальце, чтобы увидеть себя во всем великолепии – черная трубка с золотым ободком, привезенная из-за границы, жесткая серая борода, стальные светлые глаза, небрежно расстегнутая удобная фланелевая рубаша.

Он улыбнулся себе одними глазами, подошел в угол, где хранились охотничьи принадлежности, снял с гвоздя многозарядный карабин, подкинул его легко, одной рукой...

Завтра день рождения, черт побери, тридцать шесть лет, и к праздничному столу придется кокнуть лося.

Он задумался, выпуская струйки сизого дыма. Тридцать шесть – это, конечно, много, но ведь, как говорится, жизнь определяется не по сроку, который прожит, а по тому, сколько еще предстоит прожить.

В тридцать шесть командовать отрядом – это несколько посложнее, чем, скажем, в тридцать лет защитить докторскую. Там, в науке, ты один на один с самим собой, тут же все посложнее. Ты управляешь людьми, делом. И каким делом!

– Как вы понимаете ответственность руководителя?

– Я понимаю ответственность так: каждый отвечает за свое дело. В армии, к примеру, командир полка отвечает за успех боевых действий своего подразделения. И ему нет дела до каждого солдата. За то, чтобы солдат был сыт, например, отвечает старшина. За то, чтобы был готов к бою, – командир отделения. За его дух отвечает замполит.

– В армии – свои порядки. Да и то, я думаю, вы не правы. Хороший командир полка заботится и о том, чтобы солдат был сыт.

– Не исключаю. Он может об этом позаботиться, но не обязан. Не путайте обязанности с заботливостью. Ведь мы же говорим об ответственности. Отвечают за выполнение обязанностей, а не за заботливость или отсутствие оной. То, что для меня будет сверхлюбопытством, заботливостью, для подчиненного мне руководителя – обыкновенная обязанность. Так пусть он за нее и отвечает.

– И такая программа у вас всегда? Или только в ситуациях, подобных этой?

– Всегда.

– Что ж, тем это страшней, мне кажется.

24 мая. 19 часов 30 минут

Слава Гусев

Он отодвинул котелок, бросил в него дюралевою ложку и отвалился на рюкзак.

– Молоточек, Сема! Влил новые силы в усталый организм!

– Она, дичина-то, – поддержал дядя Коля Симонов, – кровь обновляет и силы придает. Древние люди, говорят, аж прямо так дичью кровь пили.

– Ну вот, опять за свое, – буркнул Орелик, – все о брюхе да о брюхе. Похвалили бы лучше охотника, вон он ради вас до сих пор обсохнуть не может.

– Обсохну! – лениво вякнул Семка, так же, как и начальник, откинувшись в сытости на мешок.

Слава Гусев обвел умиротворенным взглядом свою братию, славную свою геодезическую шайку, и подумал, что ему все-таки везет на парней. Семка – молоток, добрый, безотказный, золотой человек для всяких экспедиций, дядя Коля Симонов – просто лошадь, вытянет любой груз и поможет толково, без шуму и крику, да что лошадь – не в том дело, – душа-человек. Дура набитая эта Кланька, что так себя повела... Валька Орлов – новый человек и не ахти какой, пока не обкатался, работник, хотя и с сомнением, но это городское, институтское – оботрется. Зато во всем остальном Валька вроде бы как порция свежего воздуха: и дядя Коля Симонов, и Семка, и он уже друг дружке известны давно, все вроде успели рассказать о себе, а Валька еще не выговорился, нет-нет да бухнет такое, что глаза на лоб. Или расскажет чего-нибудь интересное. Или вот стихи начнет читать.

Уважал Слава Гусев, когда Орелик стихи читал, особенно про любовь или про расставания всякие.

Сам он был мужиком грубоватым, отменным матерщинником – как же без того в тайге, – хотя по-человечески добрым и неиспорченным. Себя Слава Гусев в глубине души считал мало-знающим: закончив лишь техникум, он не набрался городской культуры, город был ему в тягость и теперь, потому что родился он и всю юность прожил в лесном селении, в семье охотника-отца. Но теперь от города скрыться было невозможно: охотник-отец помер, а вся новая родня – теща, тесть, жена, трое ребят – были народом городским от начала и до конца, привыкшим к водопроводу, ваннам и телевизорам. Так что Слава, любя жену и детей, тосковал, однако, целую зиму, до поля, пока не начинался сезон экспедиций и пока снова он не оказывался в родной стихии.

Зимы же для Гусева были прямо мукой. Ему приходилось писать бесчисленные отчеты; ненавидевший бумагу и перо, которое не очень-то ему подчинялось, он слагал слова в неуклюжее, малотолковые объяснения и оттого считался человеком слегка, что ли, туповатым. Дружить с работниками управления он не умел, распивать после службы стопку-другую уклонялся, торопясь, с одной стороны, домой, а с другой – экономя: из шестерых, кроме него, жителей квартиры работала еще одна жена, но заработок у нее был скудный, служила она бухгалтером. Словом, с деньгой было всегда напряженно, и в экспедиции на него иногда обижались ребята за то, что он, сам похожий на вола, ишачил до изнеможения, всячески перевыполнял план для дополнительного заработка.

Обижались, впрочем, недолго, а в этом составе только Семка, да иногда ворчал Орелик, глядевший на Славины действия, ну, что ли, по-институтски.

Однажды Слава спросил его прямо, чего он хочет, Орелик обиделся, сказал, пусть, мол, не думает, он не подсиживает, просто хочет иметь собственное решение по любому поводу. Слава повздыхал про себя, подумал и плюнул: ну, пусть имеет свое решение, разве можно этим попрекать? Ведь он хороший парень, Валька, и ему расти и расти, а не вечно ходить за спиной у какого-то Гусева.

Слава поглядел в темнеющее весеннее небо, похожее здесь, у Енисея, даже в мае на осколок синего льда, подбросил в костер сушняка и попросил Орелика:

– Ну, расскажи чего-нибудь. Или почитай.

Валька послушно полез в рюкзак, вытащил обтрепанную книгу, сказал:

– Слушайте. Это я вам еще не читал.

Костер сухо и кратко шелкнул угольями, Валька помолчал чуточку для блезиру и стал читать обыкновенным голосом – не как по радио, не громко, не нараспев, не выпендриваясь, – Славе очень нравилось, как он читал стихи, хотя сам Слава стихов никогда не покупал и не читал в журналах, предпочитал романы, да потише: чтоб уж заплатил, так и начитался. Вкус к стихам появился у Гусева совсем недавно, с тех пор, как в группу пришел Орелик. Он сразу начал читать стихи, сначала Гусев не обращал внимания, что он там бормочет, потом стал прислушиваться, и ему понравилось, потому что всякий раз стихи эти вызывали у него странные чувства.

Костер потрескивал в тишине, дядя Коля Симонов, прикрыв глаза, дремал, Семка не отрываясь глядел на Орелика, а Гусев тщательно разглядывал свои ладони, бесчувственные от мозолей, пытаясь скрыть странное смущение, вызываемое в нем складными словами:

Прошло с тех пор
счастливых дней,
как в небе звезд, наверное.
Была любимой твоей,
женою стала верною,

Своей законной чередой
проходят зимы с веснами...
Мы старше сделались с тобой,
а дети стали взрослыми.

Уж, видно, так заведено,
и не о чем печалиться.
А счастье...
Вышло, что оно
на этом не кончается.
И не теряет высоты,
заботами замучено...

«Дьявол, – подумал Гусев, – слова ведь простые, а как режет этот Валька, черт его дери». Стихи не просто волновали его, а как бы стыдили, что ли. Никогда не мог он подумать даже о таком неловком, потайном, а тут сказано, да еще и гладко. И правильно в общем-то.

Ах, ничего не знаешь ты,
и, может, это к лучшему.
Последний луч в окне погас,
полиловели здания...
Ты и не знаешь, что сейчас
у нас с тобой
свидание.

Что губы теплые твои

сейчас у сердца самого,
и те слова – слова любви —
опять воскресли заново.

И пахнет вялая трава,
от инея хрустальная,
и, различимая едва,
звезда блестит печальная.

И лист слетает на пальто,
и фонари качаются...
Благодарю тебя за то,
что это не кончается.

Валька умолк, а Слава сказал себе, что эти стихи не про него, – здания, фонари, какие тут фонари и здания, тут тайга, – но тем себя не успокоил.

Помимо него, помимо его воли, выплыл осенний день его жизни, городской сквер, укрытый медью берез, мокрые скамейки, газета, постеленная для сухости на одной из них, и они, он, Слава Гусев, и Ксения Кузьмина, студентка финансово-экономического техникума.

Мысль о Ксене пробудила в нем тайную радость, какое-то ликование, тепло. Он улыбнулся робкой, беззащитной улыбкой. «Надо бы запомнить стихи-то, – сердясь на себя и зная, что никогда ему запоминание это не пригодится, подумал Гусев. – Как это там? „Благодарю тебя за то, что это не кончается“, – и сплюнул, застыдившись и злясь на себя: – Вот еще выдумал!»

*– Какими средствами безопасности обеспечивается каждая группа?
– Прежде всего я отношу к ним связь, рацию. Затем надувную лодку.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.